

Сегодня - 1994 - 11 окт. - с. 15.

Лакированный мрак

Столетие Бориса Пильняка

Андрей Немзер

П

ильняк — очень актуальный писатель. Читать его затруднительно. Скорее всего, потому, что очевидное качество письма неумолимо слепит глаза. Один абзац блестит, другой сверкает, третий переливается всеми цветами радуги. Цветов у радуги семь: четвертый абзац повторяет первый. Словесная экономия динамизирует фразу, Пильняк вколачивает в нее семь смыслов зараз. Дальше — вариации, игра лейтмотивов, борьба за оттенки. Энергия, сконденсированная на первых страницах, начинает разбазариваться. Экономия прогорает. Дабы утолить мощную сочинительскую страсть, писатель обрекает себя на повторы. Он вертит счастливые находки — свои и чужие, вновь и вновь стараясь высечь искру. Иногда получается. Но эксперимент слишком затянут, наблюдатель (читатель) слишком истомился, обнаружившийся в конце концов смысловый обертон терзается в лавине повторов.

Коллизия вечная. В русской словесности XX века она реализуется двояко. Первый вариант — удел законопослушных советских беллетристов. Говорят, у каждого из них есть по одной хорошей повести. Или фразе. Пошли найди: писали — не гуляли, невольно заваливая свой живой лист ворохом мертвых. Задача для патера Брауна, на роль которого постоянно пробуются многочисленные исследователи бывшей советской литературы. Иногда получается удачно, чаще — так же скучно, как у опекаемых (возрождаемых) писателей. Второй вариант — участь большого художника или мыслителя, вступающего на путь маскировки осознанно. Обычно тут сильнейшему внешнему давлению аккомпанирует внутренняя усталость: главное уже сказано, тональность задана, кому надо расслышать — расслышат, пропустив барабанный бой. Утверждают, что средние и поздние книги Виктора Шкловского (кстати, недоброжелателя Пильняка) ничуть не хуже ранних. Ценителям виднее.

Пильняк не попадает в клетки рабочей классификации. Мастер виден и в худших его сочинениях. Уже первые работы были в достаточной мере коллажными. «Мои вещи живут со мной так несуразно, что, когда я начинаю писать новую вещь, старые я беру материалом, гублю их, чтоб сделать новое лучшее; мне гораздо дороже моих вещей то, что я хочу сейчас сказать, и я жертвую старым трудом, если он идет мне в помощь. Не важно, что я (и мы) сделал, — важно, что я (мы) сделаем, подсчитывать нас еще рано; собранность нашего труда необходима (и была, и есть, и будет), я вышел из Белого и Бунина, многие многое делают лучше меня, и я считаю в праве брать это лучшее или такое, что я могу делать лучше. Мне не очень важно, что останется от меня, — но нам выпало делать русскую литературу соборно, и это большой долг». Это предисловие к роману «Ма-

шины и волки», текст очень личный, очень пильняковский и в то же время анонимный не только по задаче, но и по типу ее проговаривания. Прошлое стораает в настоящем. Белый и Бунин уничтожаются в топке Пильняка так же, как его собственные уже распечатанные «Материалы к роману», как чуть раньше в «Голом годе» должны были расплавиться рассказы сборника «Былье». Все ли переплавляется? Здесь мы упираемся в две каверзы.

Во-первых, прозаик может убедить себя в том, что пишет на чистом листе. Но не так просто убедить в этом читателя, который знает и Бунина, и Белого, и самого Пильняка. Написано пером, не вырубишь топором. Мечта об исчезновении старого невоплотима: Андрей Белый с самыми благими намерениями искорежил до неузнаваемости свои стихотворения и «Петербург», но живыми остались первые редакции. (Даже тупое вчерашне-нынешнее тиражирование берлинского мутанта, продиктованное сперва идеологией, а затем — листажной экономией, не отменило реального «Петербурга».) Слово не хочет умирать в слове новом — оно застывает цитатой или автоцитатой. Не отрефлектированная цитата каменеет: об нее ломают зубы читатель. Больше всего Пильняк нравится при первой (желательно — краткой) встрече. Еще больше он должен нравиться тому, кто никогда не открывал Белого с Буниным. Кажется, так читали прозу двадцатых в ранние шестидесятые. К сожалению, не Пильняка — Артема Веселого.

Во-вторых, набор «материалов» не столь уж безграничен. Проза Пильняка проявляет скрытую синонимичность литературных антонимов; Бунин, увиденный сквозь метельно-машинно-волчий кристалл, вплотную приближается к Ремизову. Андрей Белый становится двойником Максима Горького. «Реалисты» братаются с символистами, а путь от туманностей «серебряного века» до сумерек рождающегося соцреализма сжимается в точку. Машины и волки. Мужичкий бунт и «кожаные куртки». Лес и железо. Плоть и дух. Недуг и сила. Европа и Россия. Россия и Азия. «В комиссарах — дурь самодержавья, // Взрывы революции в царях». Бездна вверх — бездна вниз.

А между ними писатель. Все познавший, все узревший, всюду побывавший. Из XVII века в XXI. Из Коломны в Японию. Из оппозиции в официоз. С обязательной невыгоревшей дореволюционной памятью (виной, проклятием). С обязательным желанием попасть в тон оркестру истории. (Кстати, Пильняк поразительно умел держать удар: и после ликвидации «Повести непогашенной луны», и после разнузданной травли «Красного дерева» он оставался успешливым, плодовитым, уважаемым писателем. До гибельной поры.) С неудовлетворенностью неизменной ролью наблюдателя, изгоя, странствователя по континентам, векам и идеологиям — Вечного Жиды. Со сладким ужасом Пильняк узнает себя в писателе Г., еврее, похожем на шведа, беспрестанно кочующем и собирающем материал для



ЮРИЙ АННЕНКОВ

книги о пауках. «Я спросил, почему он так судил свою судьбу, что у него нет дома, что дом его сложен в чемоданы и идет с ним по номерам гостиниц Земного Шара? — почему он так бродит по миру, вдвоем с женою.

Он мне ответил:

— Я езжу по свету не потому, что я приезжаю, а потому, что я уезжаю. Я брожу по миру не потому, что я хочу увидеть невиданное, но потому, что я не могу видеть знаемое.

Он помолчал. Он сказал:

— Нету места в мире... — и не кончил своей мыслью.

...Я постыдился спросить о пауках (орлах, термитах, волках, машинах, комиссарах, мужиках, китайцах, англичанах, анархистах, раскольниках... — А. Н.). Я смотрел в лакированный мрак и на лакированные фонари города, на храм перед гостиницей.

Ночью, когда мы разошлись, чтобы спать, я записал в свою новую книгу памяти:

«Как велик Земной Шар — как мал Земной Шар. Я научился у Японии тому, что все течет, все проходит. Сегодня я приехал сюда из Нары, завтра я буду в Кобе, — а там — просторы Великого океана, великие просторы...»

Не надо спрашивать, с кем Пильняк: с машинами или с волками. Слишком одни похожи на других. Железный строй синонимичен метельной воле, частушка — газете, летопись — декрету. За цикличностью российской истории — теснота маленькой планеты. Не надо выяснять, кому сочувствует автор «Рассказа о том, как создаются рассказы».

«Она изжила свою автобиографию; биографию ее написал я, — о том, что пройти через смерть — гораздо труднее, чем убить человека.

Он (муж-японец, превративший жену-русскую в «материал». — А. Н.) написал прекрасный роман.

Судить людей — не мне. Но мой удел — размышлять: обо всем, — и о том, в частности, как создаются рассказы.

Лиса — бог хитрости и предательства; если дух лисы вселяется в человека, род этого человека — проклят. Лиса — писательский бог!»

Пильняк — очень актуальный писатель. Может быть, поэтому читать его затруднительно.